

Случалось это в предзимье. Застуденит с тонким присвистом сиверко, прикоржавят осклизлые проселочные тропы, задернет морозец мохнатым ледком копытные следы, а иногда и первым снежком тряхнет сверху — в эту пору появлялся в нашей деревне гость. Был он уже немолод, сутуловат, ходил вприпрыжку, с подволоком левой ноги, перебитой на японской войне. От прочих пожилых людей в округе отличался тем, что сам себе укорачивал бороду и носил очки.

Все его звали Алимужкой и не помнили отчества. Никто не знал, сколько ему лет, откуда родом, где пропадает до холодов. Хорошо известно было лишь то, что Алимужка немало годков оттрубил в царской армии. В япон-

скую войну под Мукденом был тяжело ранен и получил Георгиевский крест. После излечения в госпитале уже не мог возвратиться в строй и остался в родном полку портным.

Старик любил, когда его называли солдатом или просто служивым.

В деревню гость предпочитал заходить без провожатых, от случайного попутчика освобождался хитростью: притворится усталым или свернет в ярыжек по нужде.

Особая радость звучала в голосе отставного воина, когда он, опершись на клюку и сбросив под ноги холщовую котомку с инструментами, певуче возвещал от крайней избы о своем приходе:

— Полушубки!.. Эй, кому шить полушубки!..

Занятые нескончаемыми докучливыми заботами, сельчане за летнюю страду успевали забывать про швеца. Но будто по команде, хлопали калитки, со скрипом распахивались двери. Одежные наспех, а то и босиком, чтобы не отстать от сверстников, мальчишки высыпали на дорогу, и крикливый их табунок окружал пришельца.

— К нам, дядя Алимущка! Нет, к нам... к нам!

Швец неторопливо развязывал котомку и одабривал детей тульскими жамками, которые, как и все его вещи, пахли овчиной. Потом он в окружении ребятни обходил изогнувшуюся по взгорью кривую улицу, останавливаясь у каждой избы. Кому степенным поклоном, а кому и солевой прибауткой он отвечал на приветствия. Успевшие принарядиться — мужчины в новых рубахах, женщины в цветастых полушалках — на разные лады шумели у распахнутых дверей:

— Не обойди мово двора, куманек!

— Заждались тебя, Алимущка!..

Самая расторопная из женщин выносила шведу новый березовый веник. Путник, крикнув от удовольствия, с превеликим тщанием обметал свои лапотки.

— Отлетай, пыль-дорога, у этого порога, а тебе, молодущка, что ни гость, то подмога...

Старый солдат переступал порог и с этой минуты считал свой марш оконченным. У догадливой хозяйки он мог выпить чарку и отобедать, но это не означало, что изба для продолжительного постоя найдена.

Привечать Алимущку считалось большой честью в любом доме. Ради него резали поросенка или барана, гостю стелили лучшую постель. Домочадцы наряжались по этому случаю в праздничные одежды, а сама хозяйка развешивала по стенам вышивку: Гость не брезговал принять в дар пару чистого белья, не отговаривал, если добрые люди топили для него баньку.

За право приютить у себя швеца шли раздоры. Но Алимущка предпочитал выбирать себе место для работы сам. Чаще всего это был дом моего деда Данилы — человека чудаковатого и беспечного, любившего прихвастнуть, крепко знавшего свое плотницкое ремесло.

Сразу после молотбы дед Данила выдалбливал в земляном полу избы три глубокие ямы, закреплял в них рядок толстых кругляков. Затем

настилал на этих кругляках подобие нар или помоста. Для работы Алимущке хватило бы и обыкновенного стола, но дед знал: от любопытных не будет отбоя.

Поглядеть на швеца, послушать бывальщину о житье в других селениях, его рассказы о войне сходились и стар и млад. Поэтому настил из свежих, гладко выструганных досок тянулся через всю избу — от иконного угла до порога. Не было случая, чтобы древний Данила употребил для этого сооружения прошлогодние доски или не обстругал их добела. Нередко гость, чтобы не стеснять хозяев дополнительными заботами о ночлеге, использовал этот помост как исполтинскую постель, застав его овчинами.

Швец приступал к делу не торопясь. Он выпивал рюмочку, сытно обедал, любил даже полежать немного после еды. Не обращая внимания на публику, которая к вечеру постепенно заполняла богатырское застолье, Алимущка размашисто крестил лоб, со строгим выражением лица сотворял шутивную молитву:

*Поклон тебе, боже,
За добрые кожи,
Божьему сыну
За мягкую овчину,
Хозяину за привет,
Хозяюшке за обед.*

Минуту и две он потом прохаживался по избе, не отвечая на добродушные реплики местных остряков. Когда он подходил к столу, лицо становилось одухотворенным, серые выцветшие глаза вспыхивали задорным блеском, как у артиста, готовящегося к импровизации.

Наконец наступала долгожданная минута. Алимущка засучивал выше локтя рукава, повязывал через лоб тесемкой волосы, чтобы не спадали на глаза, и небрежно швырял на стол овчину. Резкими, точными, размашистыми движениями он рассекал ее на несколько кусков по известным только одному ему мысленно начертанным линиям. И пускал в ход иглу.

Обычно неторопливый, Алимущка за рабочим столом становился совсем другим. Толстая сверкающая в неярком свете керосиновой

лампы игла описывала в воздухе замысловатые круги, исчезала в густых складках кожи, появлялась вновь. Руки швеца танцевали, кипели над шитвом. Овчина ворошилась, как живая, дышала под этими руками.

На глазах у изумленных, притихших людей разбросанные по столу куски и лоскутья срашивались, соединялись навсегда и в таком порядке, что овчина становилась красивой, ладно сшитой, ласкающей глаз обновкой. Не дай бог, если кто-нибудь в это время кинется помогать Алимужке и в чем-то нарушит строгий порядок на столе. Разве хозяйка догадается чистым рушником отереть повлажневший лоб мастера, да такой заботе своя пора.

Вот, откусив нитку зубами, простукав деревянным молотком швы, Алимужка вскидывал свое детище на руке и щедрым взмахом кидал полушубок по длинному столу. Десятки рук устремлялись навстречу обновке, каждый норовил поддержать ее, прежде чем она попадала в цепкие руки заказчика.

Брат моего отца, рослый парень Моисей, не очень сдержанный на слова, как-то сказал, обращаясь к соседу:

— Подумаешь, полушубок! Вот надену — и разойдется по швам.

Эти слова услышал Алимужка. Закончив работу, он подошел к Моисею:

— На, разорви, щенок!

Моисей, покраснев от обиды, стал напяливать только что снятую с иголки одежду. Дед Данила пытался урезонить Алимужку:

— Брось, служивый, с дураком тягаться!

— Рви, если сможешь! — упорствовал швец. — Я плачу за овчину!

Моисей с глуповатой ухмылкой застегнул на все клепушки нарядную обновку и шумно потянул в себя воздух, расправляя плечи. Однажды он согнул на своей груди стальной ломик, но тут, как ни приседал, перекашивая плечи, добиться своего не мог.

— Рвите вдвоем! — подзадоривал Алимужка.

Моисей сбросил полушубок, взялся за рукав. Его ровесник Демьян Сорокопуд ухватился за полу. Парни забегали по избе, как бы отнимая полушубок друг у друга, изо всех сил тянули каждый к себе, дергали рывками. Наконец Мои-

сей полетел в угол, к лохани, зажимая в руке кусок полушубка.

Все ахнули: рукав лопнул по целику!

Торжествующий Алимужка тут же притачал новый рукав и, подбросив свое изделие к потолку, крикнул:

— А ну, кто поймает?

Дождлся своей очереди заказчик Савелий Князьков. Он поднес к столу и расстелил перед мастером большую овчину, которую все время держал под мышкой, скатав ее в трубку. Швец поправил тесёмку на лбу и взялся было за ножницы. Но вдруг отложил инструмент в сторону:

— Надсмехаться над своим однополчанином вздумал, Савелий? Ни во что ставишь меня перед добрыми людьми! Овчина-то твоя ползет, как тесто. А одежда готовится не на один год. Не только для сугреву — ради красоты человеку я служу! Не удержит твоя овчина моих ниток — как струны они у меня!

Пристыженный Савелий тут же удалился, позабыв овчину, сброшенную на пол разгневанным мастером.

— Гляди-кось, бабка Алена, швец из твоей овчины черта стачал! — выкрикивал какой-нибудь озорник, чтобы разрядить неловкую обстановку. Из-под вороха порезанной кожи высывались застезки, похожие на заячьи ушки.

— Цыцте, окаянные! — шумела с печки бабушка. — В урочный час нечистого не гневите... Алимужка — святой человек, безродный кругом... Всеиный он наш, богом для угождения людям послан...

Швец относился к такому заступничеству безучастно.

— Бога не видывал, про черта только слыхивал, а вот домовый мне сродни доводится...

— Ой ли?! — испуганно воскликнула, услышав такое, Настя Бородина, сидевшая поблизости от Алимужки.

— А то как же думаешь: вышел за деревню — и к облакам короткими перебежками? Я в овчинах у вас летом живу на потолке...

Швец, округлив глаза, испытующе уставился на Настю поверх очков.

— Хочешь, крестница, я прилюдно все твои секреты объявлю: сколько ты перемен белья

своему суженому приспела, какой узор на свадебной сорочке выбила?..

— А вот скажи! — осмелела девушка.

— Так вот: четыре рубашки, да портов столько же, да онуч тринадцать аршин, да сукна на зипун...

Настя ликующе возразила:

— Ой, обмишулился, папаня крестный! Не в лад сказал!

— Одну-то ты успела подарить тайком от матери и подружек, — не сдавался Алимужка. — Хочешь скажу, как жениха звать?

Девушка, будто поперхнувшись, смолкла. Застолье взорвалось смехом.

— Крой под чистую, Алимужка! До конца говори... И про Евменью рассказывай и про Катьку.

Рябая дебелия Катька, прозванная в деревне Воеводой, взмолилась сразу:

— Дядечка, милый, обо мне ни слова. Я верю, что ты домовой...

Раззадоренные мужчины кричали:

— И ведьмов наших небось знаешь наперечет?

— С ведьмами я в сговоре, — важно ответствовал швец.

На этот раз вступила в разговор бабка Алена, недовольная отношением самого Алимужки к ее заступничеству.

— Не беда бы в нашей деревне — так он в Суловке, угодничек божий, ведьмаху завел: к солдатке Домахе пристроился, чаевничать к ней ходит...

Эта разоблачительная фраза, произнесенная хворой бабкой, уже давно не слазившей с печи, подняла на ноги всех в избе. У швеца даже очки свалились с носа от неистового хохота за длинным столом. Он с хрустом перекусил зубами суровую нитку и часто заморгал подслеповатыми глазами. Всем стал заметен испуг, хотя солдатская находчивость тут же пришла ему на помощь.

— Напраслину гнешь, кума, — поправляя очки, заметил он. — Домаха — баба честная, рукодельем ее люблюсь.

— Знаю я Домахино рукоделье! — подливала масла в огонь внезапно поздоровевшая бабка.

Мужики мудрствовали:

— Вот тебе и домовой... А Домахин-то Митька за Настей ухлестывает...

Дед Данила, насупившись, протиснулся к осажденному дружку, однако не за тем, чтобы выручить его.

— Ежели на большой привал потянуло, пехота, то у нас и своих солдаток избыточно... Хату тебе всем миром отгрохаем! Петухов я ольховых срукодельничаю поузористей, чем Домаха на холсте...

Алимужка почтительно поклонился деду, сложив руки на груди:

— Каюсь, дорогие! Сдаюсь после жаркого боя... Открыться перед вами желаю...

Когда люди поуспокоились, продолжил:

— Была такая думка у меня... Позиция у соседей ваших приглянулась, окопаться вздумал там.

Дед Данила еще больше помрачнел:

— Это чего же у соседей?

— В коммунию сусловцы всем обществом собираются, одной семьей жить хотят.

— И овчины в кучу свалят? — выкрикнули от порога.

— Все, как есть! — весело блеснул глазами швец.

За столом протяжно присвистнули. Дед Данила поскреб в затылке.

— Не пойму, служба, куда ты свою строчку в разговор повел? Всем миром ладно получается хороводы водить на лугу, а полюшко, тебе не в обиду будь сказано, не овечья шкурка... За хлеб животы люди кладут, самому царю холку намылили.

Швец пожал плечами. Он, видимо, и сам не вполне представлял себе коммунию. Обдумывая свой ответ, он повертел перед лицом почти готовое изделие и сказал искренне, душевно:

— Ремесло свое хочу обществу доверить, молодых шить научу, а там и в отставку без печали и вздыхания...

...Часто разговор уходил за полночь и прерывался лишь пением петухов или завершением начатого шитва.

Помнится, Алимужка никогда не начинал работу утром. После жаркого шитья, которое подчас продолжалось до полуночи, швец отсыпался, разбросав свои красные, вздрагивающие во сне руки. Женщины подоят коров, истопят печь, соберут на стол. А он все спит.

Завтракали молча, переговариваясь шепотом, чтобы не потревожить покой своенравного старика.

Однажды, улучив момент, когда взрослые разошлись по своим делам, я залез к шведу на помост. Захотелось поглядеть на его руки — большие, с тонкими, вытянутыми пальцами, пахнущие совсем иначе, чем у всех.

Это было неожиданно и показалось мне страшным. Руки старого Алимущки, те самые руки, веселой игрой которых мы любовались, руки эти были в синих крапинках уколов, будто посеченные дробью. Вдоль большого пальца тянулся свежий, еще не заживший шрам.

Дед Данила спозаранку уходил в свою камору, где стоял его деревянный токарный станок с ножным приводом. Там он мастерил прялки, вытачивал катушки для основы, строгал ножи к столам, делал игрушки маленьким. В избу проникал через сени еле уловимый шумок привода и шелест отлетающей стружки. Но и этого негромкого шума порой было достаточно, чтобы старый солдат с его по-особенному настроенным слухом просыпался. Плеснув себе в лицо холодной воды, он спешно утирался и семеня в каморку. Там он мог часами с детским очарованием во взоре наблюдать, как обыкновенное березовое полено превращается в узорчатую ножку для прялки, миску или матрешку.

Дед Данила улавливал за спиной восторженный шепоток швеца. Замедлив вращение диска, он снимал с зажимов еще горячую, остро пахнущую березой деталь, кидал ее на руки другу. Если вещица особенно приходилась по вкусу шведу, дед уговаривал взять себе на память. Иногда Алимущка принимал дар, заворачивал деревянную миску или матрешку в кусок овчины, чтоб показать в другой деревне. Он хорошо знал в округе всех рукодельных вязальщиц, удалых медвежатников, пчеловодов, шорников, гордился дружеской близостью к ним, считал своею родней.

Был случай, когда Алимущка встал поутру раньше всех нас. Это произошло в начале марта. К тому времени захожий мастеровой обшил всю деревню и поговаривал о скорой разлуке. Чудаковатый старец мог запросто, втихую исчезнуть, не взяв ни с кого платы за свой труд. Поэтому

мужики уговорили деда присматривать за Алимущкой в последние дни постройке. Они собирались купить шведу в складчину лошадку, чтобы тому легче было передвигаться от села к селу в его подвижнической кочевой жизни.

Поднявшийся спозаранку отец обнаружил лежанку швеца пустой. Не было у изголовья и френча с «георгием». Отец всполошился. Мы кинулись на розыски. Но тревога оказалась напрасной. Алимущка сидел на крыльце, накинув внапашку свою ветхую одежду.

— Чего всколготились! — набросился он на отца. — Послушайте-ка: весну везут... Отлетает моя пора... Машинами станут шить одежду артельные, как в городах.

По деревне вперемежку с петушиным криком разносился дробный перезвон кузнеца: «Длень-день, де-де-день!.. Длень-день, де-де-день!..»

Все это сливалось в музыку начинающегося трудового дня. Тонкий перезвон металла напоминал колокольчик извозчика, который будто в самом деле вез откуда-то издалека в нашу деревню весну.

— Эк выкомаривает, а?! — шумел старый швец. Он поплотнее натянул на плечи армяк и будто прикипел ногами к промерзшим половицам крыльца. — Красив, должно быть, кузнец ваш, если он на наковальне, будто на гармошке, наигрывает!..

Деревенский коваль Аноха Дерюгин был крив на один глаз, страдал от запоя. Хоть и считался он отменным работником, никому в голову не приходило назвать этого страховидного человека красивым.

Лишь однажды я видел Алимущку разъяренным, как-то даже потерявшимся от возмущения. Приглядевшись к молодке, присланной за ним из соседнего села, Алимущка попросил ее показать свою шубейку. Чем-то не понравилась шведу обновка: неровные сборки по талии, уродующая статную фигуру молодой женщины одутловатость на спине.

Чем больше Алимущка разглядывал это изделие, тем сильнее закипала его несогласная со злом натура.

— Швы-то какие, а? Строчку повел аж отседова, стервец! А нитки! Неужто ссучить как следовало поленился?!

Подняв глаза на сокрушенную владелицу шубейки, спросил строго:

— Чья работа, сказывай?

— Да нашенский человек готовил, Сутокин. Вдвоем они шьют — с сыном Ермолкой.

— Ермолка у меня в учениках ходил зиму — бездарь! — отрезал Алимужка. — Выгнал я его!.. Так и сказал: «Кру-у-гом! Марш отседова!»

Алимужка без особого напряжения растянул шубейку, и она расплзлась сверху донизу. Это вконец разъярило швеца. Он затрясся весь, ударяя себя в грудь.

— Иуды! — вскричал Алимужка. — Опозорили! Осрамили рукомесо наше! На всю родную землю худую весть о швецах пустили!

Работа как-то не давалась ему в руки в этот день. Он часто вскакивал из-за стола, шептал ругательства. Под конец испортил овчину, чего с ним никогда прежде не случалось. К вечеру не выдержал, собрав пожитки, ушел с этой молодойкой, выпросив для нее зипун у моей матери.

Ходили слухи, что он все же «смерил» вдоль спины незадачливого Сутокина своим березовым аршином, которым брал мерку с заказчиков.

...Умер старый швец в мае, простудившись в дороге под весенним ливнем. Стояла теплынь, когда хоронили его, но кладбищенский холм ярче луговых венков пестрел полушубками.

Дядя Моисей, несший вместе с другими гроб от самого нашего дома, у могилы снял свой полушубок и укрыл им Алимужку.

Как-то мне пришлось побывать в родных местах. Дебелый крест, сработанный из сердцевины дуба моим дедом, за тридцать лет потемнел, покосился, взялся зеленым мхом. Поправляя крестовину, я разглядел на ней все еще заметные выжженные в кузнице раскаленным гвоздем прощальные слова...

В другой раз неожиданная встреча с Алимужкой выпала на ярмарке. Сквозь несмолкаемый базарный говор вдруг прозвучал хрипловатый басок:

— Эй, навались, у кого деньги завелись! Полушубки! Алимужкины полушубки!..

В кузове грузовика, заваленного тряпьем, стоял мужчина — не Ермолка ли? — держа на руках одежду из яркой дубленой кожи. Несколько пожилых мужчин отделились от толпы и обступили машину. Шуба оказалась в жилистых руках седоволосого старика, одетого как встарь — в кожух и треух. Он долго крутил в руках привычную для него одежду, подслеповато приглядываясь к рубцам, мял кожу между пальцев. Потом молча возвратил продавцу. Уже отойдя в сторону, сказал:

— Шьешь, так шей, как можешь! А чужого имени не замай попусту! Алимужка небось космонавтам одежду мастерил бы, доживи он до наших ден...

И старик поправил на плечах уже выцветший, кое-где залатанный, но все еще ладно сидящий на нем полушубок...